ГК2395
Г626

САВВА ГОЛОВАНИВСКИЙ

ГРОЗЕН ДНЕПР

СРПУ

Смерть немецким оккупантам!

„ФРОНТ И ТЫЛ"

САВВА ГОЛОВАНИВСКИЙ

ГРОЗЕН ДНЕПР

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ
1943

К.
2/3 85
18

ГК 2395
Г 626

579663

ГРОЗЕН ДНЕПР

I

Гневный и величественный, будто преисполненный ощущения силы и великолепия, жил своей волшебной жизнью Днепр. Долгие столетия проносил он голубые воды к морю и каждая его капля вмещала в себе мир и целую историю.

Великое прошлое одной из самых прекрасных стран связывалось с мощью этой многоводной реки, бурная, некогда клокотавшая народная страсть воплощена была в дикой непобедимости его неугомонных порогов. Днепр — это была Украина.

Он и остался воплощением этой жемчужины. Он был верен земле, которую омывал. Он жил так, как жила Украина. Вместе с ней стонал он когда-то; в новый век коммунистического расцвета он тоже вошел вместе с ней.

Над крутыми его берегами, над седыми гранитными кручами зазвенела кирка. Динамит и амонал перекликнулись в тысячелетней тишине долгостонущим эхом. Взлетело «кресло Екатерины», скала Сагайдачного, хортицкие берега... Человек пришел менять историю своего отечества. Это был новый, невиданный, но настоящий человек!

Взволнованное дыхание тех лет овеяло нашу молодость странной романтикой бетона и цемента. Как такты вдохновенного марша, звучат в нашей памяти и сейчас несогласованные голоса паровозных кукушек и подъемных кранов. Горд человек, чей пот смешался с цементной пылью, чтобы стать бетоном днепровского колосса.

Это было в 1927 году. Будущая плотина— одно из величайших созданий человеческих рук — должна была высоко поднять уровень воды и затопить десятки старых соломенных сел, тысячи хат, изъеденных червями времени и превращенных в труху.

И вот из Харькова приехала правительственная комиссия по переселению жителей затопляемых районов на новые места. Комиссия отводила плодородные участки, снабжала переселенцев деньгами и материалами для постройки новых и светлых домов, для обзаведения новым хозяйством. Люди с радостью встречали улыбающееся им счастье,

они понимали, что их зовет будущее, и они покидали свои полуистлевшие гнезда, весь свой убогий скарб и уходили на Хортицу, на нижний Днепр, чтобы жить, идя в ногу с зовущими их событиями.

Я помню сельскую сходку в Кичкасе. Население собралось для обсуждения вопроса о переселении. Все местечко решило пойти навстречу советской власти. И только один дед Яким отказался покидать свое насиженное место.

— Отец умер здесь, дед умер и прадед. И меня здесь погребут, — говорил он тихо, но властно.

Дед Яким помнил похороны Тараса Шевченко, он часто перевозил через Днепр художника Репина. Перед его глазами прошло удивительное столетие и сам он был воплощением прошлого, своей великой Украины. Дед Яким был сед, как Днепр, и, как Днепр, непокорен. Его упорство должны были побеждать, как побеждали клекот вечно кипящего Ненасытца. Он цеплялся за свое прошлое и трепетал перед идущим навстречу веком его правнуков.

Но правнуки, победившие Днепр, победили и деда Якима. В эти дни они совершили прыжок в будущее. Они ушли из села, оставив на площади деда Якима одного. Но украдкой оглядываясь назад, все увидели, как старик

после долгой и мучительной борьбы с собой медленно, весь содрогаясь от старческого волнения, пошел за ними.

— Идолы! — сердито кричал он.—Ваша правда.

Когда он сделал первые робкие шаги, от толпы отделился его правнук Омелько и подбежал к нему. Он схватил под руку своего прадеда, улыбался, ободрял старика, он был счастлив, что мудрость времени пошла за ним.

Замершая толпа стояла в немом оцепенении, созерцая величественный союз прошлого и настоящего. К ней приближались прадед и правнук. Прошлое оправдывало и вдохновляло молодых.

Через 5 лет было завершено одно из самых замечательных строений человеческого гения. Это был не храм, подавляющий человека своим величием и превращающий его в ничтожную пылинку. Днепровская плотина возвеличивала Омелька, ибо сам и для себя создал он этот гигантский памятник, ибо велик тот, кто сам способен создать подобное величие.

Днепр преобразился. Его трудно было узнать. Как радуга, в брызгах и пене, встала величайшая плотина на земле. Внизу, на расчищенных берегах кипящей реки, на Хортице, убранной в майский изумруд, выросли

прекрасные строения. В них жили люди, переселенные из затопленных древних сел. Дед Яким сидел на стеклянной веранде ослепительного котеджа и восхищался плодом труда своего правнука. Этот труд воздвиг новый мир и погрузил на днепровское дно испепеленное прошлое, казавшееся невозвратимым, сверженным навсегда.

II

Передо мной сидит странный человек. Он молод, но бледное лицо окаймлено бесформенной рыжеватой бородой. Он грязен и оборван. Пальцы выглядывают из продранных сапог.

Я с трудом узнаю в нем Омелька, юного, которого встречал когда-то в Кичкасе, потом почти ежедневно видел в цементных блоках строящейся плотины.

Что случилось с этим стройным, так недавно красивым человеком? Какое горе одело его в этот грязный костюм и смутило озорной, мальчишеский блеск серых, почти прозрачных глаз?

Он пришел из-за Днепра. Он перенес плен и неволю. Его кололи немецким штыком и били кулаками, поблескивавшими неуклюжими бюргерскими кольцами.

Он пришел к своим. Он прошел сотни километров по разоренной, сожженной и ограбленной стране. Он видел горе тех, кто стонет под германским сапогом, но ждет и верит в нашу победу.

Омелько оборонял Днепрострой. Грудью своей хотел он защитить то, что создал в поте лица. Он смотрел на ровные улицы прекрасного города, по которым били крупповские орудия, и сердце его обливалось кровью. Здесь, на плотине, воплощавшей его молодую мечту, в бурно пенившемся водопаде покоренной днепровской стихии был видимый, ощутимый, почти осязаемый социализм.

Но немцы нажимали все сильнее и сильнее. Им нужно было форсировать реку вверху. Но Днепр был широк и многоводен. Лазурное озеро Ленина преграждало им путь — оно было непреодолимым препятствием.

Им пришлось пойти через Хортицу, где река была хоть и узка, но форсировать ее приходилось дважды. Но советские люди, поклявшиеся ничего не оставлять ненавистному врагу, взорвали радужные мосты, висевшие над голубыми омутами. Сотни грабителей полетели вниз, но немцы не жалели человеческой крови. Они бросали все новые и новые полчища в Днепр. Окровавленными телами своих солдат прудили они реку, переходя на Хортицу. Высока была цена, но дале-

ка победа. Советские воины дрались, как львы, и история не забудет имен защитников Хортицы. Им памятником будет победа, их славой—высокая доблесть и мужество, с которым они встречали смерть.

Но положение с каждым часом осложнялось. Немцев нужно было задержать на правом берегу, пока еще не вывезены заводы, пока от смертной угрозы не спасены женщины и дети, пока не отошли войска на новые оборонительные рубежи. Велика была цель и никакая цена не могла казаться непомерной.

И вот на рассвете произошел взрыв. В старом Запорожьи на расстоянии многих километров от страшного сотрясения вылетели оконные рамы. Целый пролет гигантской величественной днепровской плотины разлетелся в пыль.

Вода ринулась вниз. Она бушевала, как дикое животное, отыскавшее выход своей ярости. Она ломала германские переправы, сносила тяжелые орудия и танки, она заливала пространства, превращая и этот путь через Днепр в дорогу смерти. Цель была достигнута: немцы искромсаны могучим ураганом, стерты в порошок обломками бетона, уничтожены, истреблены.

Но вода рвалась дальше. Она устремилась к маленьким красивым домикам, трепетно ждавшим решения своей участи у подножья

изумрудной Хортицы. Она равняла с лицом земли места, где люди нашли свое счастье, где жили те, кто в трудовые часы деловито ходил по длинным стеклянным амфиладам турбинного зала, кто осуществил свою мечту, воздвигнув этот сияющий памятник своему времени.

И чем больше мелело озеро Ленина, чем явственнее сближались так недавно далекие берега, тем отчетливее выплывали страшные остатки прошлого, погребенного когда-то под водой. Медленно, будто мучительно рождаясь, появилась из-под воды уродливая, вся обвитая подводными растениями, кичкаская церковь. Все больше и больше оголялись крутые скалы старых днепровских берегов. Затем стали появляться черные и прогнившие за 12 лет подводной жизни крыши когда-то брошенных строений, появились стены домов, кривые улицы и покрытые песком и илом ярмарочные площади. Это всплыло забытое, уродливое прошлое, мир, угнетавший деда Якима, давно лежащего в хортицкой земле, на старом казацком кладбище. Это всплыли пройденные века, звеня каторжными кандалами и ржавыми колоколами разрушенных церквей, свистя длинными арапниками крепостничества и угнетения, зияя воспаленными глазами, полными вдовьих слез и сиротского горя. Это всплыл старый, проклятый

мир ужаса, став на смену сметенному ураганом нашествéнников миру свободы и человечности.

...Осунувшийся, постаревший правнук деда Якима сидит передо мной. Он видел—как рождалось будущее и как было воскрешено прошлое. На его глазах разыгралась страшная драма XX столетия. Но разве проходят безнаказанно преступления людей, вмешивающихся в закономерный бег времени? Разве проходит даром святотатство и надругательство над тем, во что верит человек?

И разве сомневается кто-нибудь в том, что это насилие над временем будет достойно отомщено?

III

Когда-нибудь мы назовем фамилию Омелька. Люди, взлелеянные голубым приднепровьем узнают того, кто громил немецкие обозы, кто поджигал вражеские танки, кто взрывал склады с боеприпасами в далеком тылу германского фронта.

Омелько защищал Хортицу. Он мужественно сражался с врагом и на его руках один за другим умирали его товарищи. Позже, когда держаться уже не было сил, он включил рубильник. Собственной рукой поднял он в воздух то, ради чего он жил. Враг

не должен был воспользоваться его бесценным достоянием, его воплощенной мечтой. Омелько укротил боль, но умножил горечь обиды, чувство ненависти, жажду мести и решимость бороться.

Он ушел в партизанский отряд. Он мстил за поруганную честь, за окровавленную Украину, за возмущенный Днепр, за поруганные законы Истории и Времени. Он мстил, жестоко мстил!

Немцы дрожали перед именем этого неизвестного мстителя. Никто не знал, откуда он появлялся во главе своих товарищей, но он был вездесущ и неукротим. Немцы назначали большие награды тем, кто покончит с неизвестным храбрецом. Сначала сумма назначалась за живого Омелька. Потом немцы согласились получить хотя бы его голову, затем они объявили, что удовлетворятся указанием места, откуда совершаются дерзкие налеты.

Все было напрасно.

Но теперь, когда Омелько сидит перед нами, когда после крупной и удачной операции он прошел через все заградилки, чтобы попасть к своим, мы откроем тайну этого необычного человека.

В день, когда из-под воды всплыли сгнившие, занесенные илом домики Кичкаса, Омелько пережил вечность, сделавшую его

стариком. Он решил, что сможет надежно укрыться в этих домиках, куда немец не рискнет полезть, боясь встретиться воочию с волшебной сказкой о днепровском дне, но где ему, Омельку, знаком каждый закоулок, каждая улочка. Мир символов, доступных светлому уму этого человека, раскрылся во всю ширь. Как тогда, на площади, после исторической сходки, воздвигавшей фундамент будущего,—так теперь, в момент насильного воскрешения мира деда Якима, Омелько заключил союз с оправдавшим его прошлым,—союз двух продолжающих друг друга эпох. Руины всплывшего Кичкаса скрыли его следы и вместе с ним мстили чужеземным пришельцам. Отжившие и страшные, они мстили за свое неестественное воскрешение, за противозаконное возвращение к жизни, которая по незыблемым законам времени должна была принадлежать Днепрострою, ныне погребенному под днепровскими волнами.

...Омелько сидит передо мной. Месть его еще неисчерпана, справедливость неукротима. Он не успокоится, пока жив хоть один из тех, кто разрушил создание его рук. Он будет мстить, входновленный историей своего народа и своей собственной биографией. Он призовет к ответу готические строения гер-

манских городов. Он не успокоится до тех пор, пока враг не отплатит за боль и обиду советской земли, пока вывороченные камни мостовых не перестанут вопить о священной всепожирающей мести.

Он не успокоится до тех пор, пока весна не раскует порабощенный Днепр, пока освобожденные воды не смоют с лица его земли страшного кошмара, душераздирающего сна, на мгновенье ставшего действительностью, пока снова не скроется под бушующими волнами на минуту ожившее уродливое, заплесневевшее прошлое; пока страсть созидателя не получит славного и почетного выхода; пока время и история не вступят в свои права.

КИЕВСКИЕ КАШТАНЫ

Сейчас в Киеве расцветают каштаны.

По улице Ленина, на Владимирской горке, в знаменитых киевских парках и в аллеях раскошных садов распространяется еле уловимый терпковатый аромат. Парки политы серебром, стройные башни деревьев нарядны и величественны; Киев разодет в изысканный весенний наряд.

Но необычны этой весной улицы в нашем родном городе. Фатоватый обер-лейтенант идет по Крещатику, хлопая себя по голенищу гибкой, свеже-сломанной веткой. При каждом таком похлопывании на земле остается след осыпавшихся лепестков: обер-лейтенант развлекается веткой каштана, с обидным безразличием сломанной на каком-то цветущем дереве.

Проходит грустная молодость киевских садов! Лепестки осыпаются на пыльные мостовые незаметенных улиц. Цветом киевских каштанов в эти дни любуются воспа-

ленные голодом глаза изможденных людей. Киевляне, так трогательно влюбленные в свой город, в свои улицы, в свои сады, ходят, боязливо оглядываясь — нет ли поблизости этого самого зазнавшегося бюргера, который может мимоходом ударить, оскорбить или даже просто пристрелить человека.

Когда-то, при знакомстве с путешествующим иностранцем, мы спрашивали:

— А бывали вы весной в Киеве? Как! Вы не видели цветущих каштанов?! Вы можете считать, что ваша жизнь путешественника прошла напрасно.

Теперь, при встрече с земляком, киевлянин с дрожью в голосе спрашивает:

— Вы слышали об этих страшных каштанах на площади Верховного Совета?

Несчастный растерзанный Киев! Да будут прокляты те, кто превратил в кладбище наш цветущий город, город радости и солнца, наш родной, прекрасный Киев!

* * *

В нагорном районе Киева, называемом Липками, между расстрелевским дворцом и царским садом, возле памятника жертвам немецкой оккупации, выросла красивая группа каштанов. Рассаженная заботливой рукой

опытного садовника по маленькой, ровной окружности, она теперь образует круглую плотную стену стволов и прозрачного неба, укрытую зеленой лиственной крышей. Это место по праву считается гордостью и красой города. Раскинувшийся внизу Днепр виден отсюда на много километров. Свежий воздух днепровской долины, чистый и одуряманивающий запах черниговских полей и придесенских садов долетают сюда без всякой примеси пыли и копоти, которой так много во всяком большом городе.

Настоящий киевлянин не может прожить дня без того, чтобы хоть на мгновение не остановиться у крутого обрыва, не вдохнуть этого опьяняющего воздуха и с гордостью не пройти мимо каштановой беседки. Этому ничто никогда не могло помешать. Привычка, ставшая потребностью, одинаково свойственна солидному депутату, спешащему на сессию Верховного Совета, и влюбленной парочке, медленно скользящей в вечерней тишине мимо подозрительных глаз постовых милиционеров.

Даже этой проклятой весной киевлянин, забывший о таком большом количестве трогательных привычек, не может расстаться с этой потребностью. Немец отнял у него все: у киевлянина нет свободы вольного человека, он обречен на голодную, унизительную

смерть, его сыновья и дочери платят своими жизнями за малейшие прихоти разнузданных и сластолюбивых пруссаков. У киевлянина отнято все, кроме красоты родного города, кроме прелести, которая таится даже в развалинах, даже в пепелищах знакомых и родных улиц.

Поэтому и в дни этой страшной весны вокруг прелестной каштановой группы, бессильно пошатываясь от дуновения днепровского ветерка, проходят худые, изможденные люди, так горячо, так вечно любящие свой несчастный город. Они давно уже привыкли отворачиваться и стараться не видеть творящегося вокруг ужаса. Только на мгновение потрясает их теперь зрелище расстрелянного соседа, труп которого лежит тут же на мостовой, или качающееся по ветру тело повешенного киевлянина, который еще, может быть, только вчера сам ходил по асфальтовой площади мимо дворца Верховного Совета и любовался с обрыва днепровским разливом и цветником стройных каштанов.

Потрясение бывает кратким по времени, но вечным по глубине. Память не изменит киевлянину, когда наступит роковая минута мести!

Но в это весеннее утро киевляне не в силах были отвести свои глаза от ужаса, по-

стигшего их. Рано утром, почти на рассвете, когда люди вышли на улицы, в поисках чего-либо, что можно съесть, те из них, кто шел мимо цветущей каштановой группы, остолбенел от страха: на каждом дереве, по всему кругу висели трупы с большой общей надписью: «партизаны». Эта казнь была страшной не только по масштабу, но и по своей дикой бессмысленности. Кого немцы повесили под видом партизан? Мстителей, поднимающих на них топоры или взрывающих штабы их командования? Но ведь эти не бросали гранат в окна солдатских казарм, не подкладывали мин по пути следования германских моторизованных колонн! Они просто не слишком самоотверженно работали на скороспеченном заводе. Их повесили за «саботаж», но тогда ведь следует повесить весь город. Ведь только отъявленные бандиты могли работать на немцев, видя все, что творят эти изверги. И только призванные предатели, какими являются фашисты, могут подозревать эти качества во всех киевлянах поголовно и требовать от них «честного труда»!

Но так убийственно поразило киевлян в это утро еще и другое обстоятельство. Честные растерзанные их земляки, висевшие на цветущих киевских каштанах—это было так символично и так страшно, что приводи-

ло в дрожь и ужас сердца всех. Роскошная каштановая беседка, белый ослепительный цвет, так трогательно напоминавший об отошедших днях спокойствия и счастья, и страшные качающиеся трупы замученных, возвращающие каждого в такой реальный и такой отвратительный мир!

Да! Символы — это, может быть, самое убедительное для людей, какими являются киевляне и духовная цельность которых воспитана вечной борьбой и неумолкающим шумом цветущих, облагораживающих каштанов!

Город зловеще замер в этот день. По солнечным улицам шагали только штабные офицеришки, хлопая себя по начищенным голенищам свежими ветками и как всегда рассыпая при этом еще живые лепестки каштановых цветов. Население как бы вымерло, как бы погрузилось в еще более угнетающее небытие. Могло сложиться впечатление, что город находится в удивительном всеобщем заговоре молчания, грозящем в любую минуту разразиться бурей, как всегда в подобных случаях, — неукротимой и страшной.

Однако буря разразилась не там, где ее следовало ожидать. Население попрежнему продолжало молча избегать площади у расстрелевского дворца. Улицы и в других мес-

тах были пустынны. Немцы могли считать, что достигли цели и навсегда запугали киевлян своей жестокостью.

Но в эти дни началась удивительная, молчаливая, но упорная борьба города с его поработителями, борьба, завершившаяся, в конце концов, блестящей и поразительной победой справедливости.

Прошло несколько дней с момента казни. И вдруг, в одно весеннее утро на месте немецкой надписи «партизаны» появилась другая надпись — «отомсти за наших товарищей». Кто были смельчаки, сделавшие эту надпись? Рабочие, чьими товарищами были повешенные? Но ведь они казались побежденными жестокостью немцев! Кто же другой осмелился так громогласно заявить о себе в этом городе, где все живое казалось раздавленным навсегда?!

Удивительная вещь! — Откуда узнал город о новой надписи на каштановой беседке? В эти дни никто этого места не посещал, но о надписи город узнал сразу и люди, как бы снова уговорились, высыпали на улицы. Осторожно, поодиночке, стали они подниматься на Липки, проходить как ни в чем не бывало мимо каштановой беседки, смотреть с обрыва на разлившийся Днепр. Никто не смотрел на каштановую группу: все знали, что если сейчас и нет на ней новой таин-

ственной надписи, то только потому, что взбесившиеся немцы сорвали ее и водрузили снова старую. Но все довольно улыбались, зная теперь наверняка, что в городе есть мстители, есть защитники, есть люди, не испугавшиеся немецкого террора.

Это был уже новый заговор целого города. Это был заговор радости, заговор предчувствия, заговор предвкушения близкой победы. Люди впервые за много недель начали улыбаться, но это были улыбки заговорщиков. «А вы видели надпись на трупах?» — казалось, говорили улыбающиеся люди, лукаво глядя в глаза друг другу.

Да! Видели! Все видели, все слыхали, все знали! Все знали и торжествовали эту, пока что маленькую, победу. Многие, особенно любознательные или недоверчивые, поднимались чуть свет, чтобы увидеть собственными глазами. И, убедившись в том, что война продолжается и что сегодня, как вчера, неизвестные храбрецы снова водрузили призывающую надпись, они торжественно возвращались и рассказывали об этом знакомым.

Немцам это было не по душе. Удивительно ли это — ведь в них говорило не только предчувствие опасности, но и уязвленное бюргерское самолюбие. Как! В такой дали от фронта; в Киеве, где после известных взры-

вов все казалось хотя бы внешне спокойным; где они приложили столько сил, чтобы навязать населению свой пресловутый «новый порядок»!

Но их ухищрения были напрасны.

Они устраивали засады в каштановой беседке, — по утрам находили немецких шпионов с кляпами во ртах и связанными сзади руками. Вместо немецкой надписи все равно красовалась советская! Они привезли породистых ищеек, собираясь, очевидно, при помощи собак восстановить свое попранное самолюбие, — но ищейки оказались отравленными в самом здании гестапо по ул. Толстого!

Лучше всего было бы для них — снять трупы с каштанов. Но это было бы уже полным признанием своего бессилия. Пообещав в день казни, что повешенные будут висеть до тех пор, пока их не съедят бешеные собаки, они очень страстно желали довести дело до конца.

В один прекрасный день были выставлены часовые у знаменитых каштанов. Эти надменные стражи охраняли советских партизан от бешеных собак, на съедение которых они, собственно говоря, были выставлены! Это было смешно. Немцы отлично все понимали, но, одержимые тупой амбицией, были теперь способны на глупости.

По крайней мере, они, казалось, были гарантированы от нового появления таинственной надписи. Но новое утро готовило Киеву еще более удивительную неожиданность. Все понимали, что борьба не окончится так просто и что часовые не станут помехой храбрецам. Но если бы спросить у сотен тысяч киевлян, что произойдет этой ночью, — то вряд ли кто-либо предугадал бы ход событий, завершившихся с таким театральным эффектом!

Каштаны все еще не сбрасывали своего цветения, своего не по времени роскошного убранства. Дым осенних пожаров давно рассеялся и над городом царил пряный запах каштанов — чуть терпковатый, но тонкий и опьяняющий. Попрежнему серебрилась коническая крона каштановой беседки, привлекая очарованных киевлян своей естественной архитектурой, с успехом соперничавшей с красотой расстрелевского дворца, расположенного тут же, напротив. Попрежнему люди по утрам устремлялись туда, к крутому обрыву, где под надежной охраной висели позеленевшие от времени и солнца трупы их знакомых.

Но первое, что еще издали поразило приближавшихся — это странное отсутствие часовых. Неужели немцы больше не опасались настойчивости неизвестных мстителей? Это

было настолько удивительно, что люди ускоряли шаги и спешили к каштановой беседке, чтобы скорее в этом убедиться.

Но глаза их поразила новая неожиданность — самая удивительная из всех, какие пришлось в эти дни пережить киевлянам! Вместо позеленевших, разложившихся трупов киевских рабочих, на каштанах висели часовые, так старательно охранявшие их! На месте старой надписи на сей раз была прикреплена совершенно новая, аккуратно написанная красной краской, очевидно, заранее. «Тремтіть, недобитки ворожі!»—гласила она. Слова из песни здесь подошли, как нельзя лучше: они были не только произнесены, но и воплощены!

На сей раз город улыбался уже не с видом заговорщика, а с деловитостью соучастника. «Да, весна началась в нашем родном городе с дела!» — говорили их улыбки.

Люди быстро проходили мимо. Им все было ясно! Свежие, осыпавшиеся уже этой ночью, лепестки каштанов теперь не вызывали жалости в сердцах киевлян. Это были лепестки соучастников, цветы мстителей. Они были свидетелями борьбы и, лежа на земле, говорили о жестокой схватке между часовыми и неизвестными храбрецами, происшедшей этой ночью. Их уносил набегающий с Днепра ветерок и они, как вестники нашего прибли-

жения, летели на запад — туда, где, как в Киеве, пора приниматься за дело. «Кончается поздняя весна, — говорило их появление, — приближается лето победы».

УЛИЦА РАЗВАЛИН

На том месте, где когда-то стоял город Чернигов, в садах и цветниках, родивших великого поэта человеческого счастья Михаила Коцюбинского, высоко громоздятся обгоревшие стены и руины когда-то красивых строений. Города нет. Он растоптан железной ступней изверга, не имеющего жалости и снисхождения ни к живому, ни к мертвому.

Война прошла по крышам тысяч улиц. Сотни городов сожжены и уничтожены. Но то, что произошло в Чернигове, не найдет себе примера в позорной книге коварства и жестокости. Плачьте, черниговцы! Больше никогда не восстанет ваш город из праха таким, каким он был когда-то, ибо в том-то и состоит печальная сторона прекрасного, что, будучи уничтоженным, оно уже никогда не может быть повторено или восстановлено в точности.

Большая квадратная площадь в центре города, выложенная клинкером... Дворец Ма-

зепы в старом тенистом парке над Десной... Старый собор с золотыми остроконечными куполами, похожими на конические уборы витязей... Всего этого нет. Воронками полутонных бомб изуродована площадь. Разрушен мазепинский дворец и собор с золотыми куполами. Украдена серебрянная сабля гетмана Богдана Хмельницкого из-под разрушенного купола старого музея... Загажен столетний парк и осквернена слава народа, добытая честным трудовым потом, кровью и самоотверженностью прадедов.

При воспоминании об этом кровью обливается сердце каждого черниговца. Что может быть плачевнее судьбы человека, родной угол которого уничтожен? Что может быть печальнее грусти о милых улочках и тропинках, по которым ты бегал в детстве, катая деревянный обруч или взметая до небес змея из разноцветной бумаги? Казалось бы, такова война и судьба всех городов, на которых оставила свой след жестокая неумолимость. Но судьба Чернигова особенно страшна. Его не только сожгли, не только уничтожили, но превратили в музей, в святилище жестокостей и изуверства. В других разрушенных немцами городах, оставшихся далеко в тылу их фронта, кое-что убирается, кое-как зализывается. До черниговских руин не разрешено дотрагиваться. По приказу германских ге-

нералов этот город должен быть «украинской Помпеей», памятником «мощи германской авиации». Им хочется, чтобы их белобрысые отпрыски, расхаживая меж черниговских развалин, самозабвенно провозглашали хвалу воздушному флоту маршала Геринга, так же, как они теперь, расхаживая по итальянской Помпее, с бесплатными билетами для немцев, восхищаются силой и мощью Везувия.

Они устроили этот музей. Они ходят и восхищаются своей мнимой мощью. В городе расставлены столбы с табличками на углах бывших улиц и площадей. Вот улица развалин. Вот улица камней. Вот площадь смерти...

Да, человека, который придет сюда, бросит в холодный пот. Как бы он ни был настроен, он подумает, до чего же велико могущество тех, кто в один день разрушил такой город. Но если этот человек узнает правду, то его ужаснет не мнимое могущество, а невообразимое коварство, не мощь и беспощадность, а подлость подтасовки, которая была пущена в ход бессильной злобой и тупым озверением для того, чтобы обмануть будущее поколение.

Я был в Чернигове 3 августа 1941 года. Город был пышен в своей естественной красоте, в своем бирюзовом наряде осенних небес и синей, еще по-летнему сверкающей воды. В восьмидесяти километрах вокруг шла

война. Уже был полуосажден Киев. Через древние его купола с шипением и свистом перелетали снаряды. Уже был разгромлен Нежин, сожжен Бахмач и совсем близко находящаяся Шостка. С разных сторон долетали с теплым ветерком гулкие раскаты недалеких разрывов, а когда ветерок усиливался, то в его свежести можно было отгадать легкую примесь гари и пороховой копоти.

Но в Чернигове царила удивительная тишина. Почему немцы ни разу не прилетали в Чернигов? Неужели им не было никакого дела до этого города, стоящего на стратегическом пути их продвижения? Гомель был уже занят, и войска фельдмаршала фон-Бока шли прямо вдоль клинкерного шоссе к Чернигову. С другой стороны, немцы форсировали Днепр у Остра и как-будто отрезали Чернигов с юга. Но сам он не испытал даже малейшего влияния войны и остался тихим оазисом среди просторов, превращенных войной в пустыни.

В чем был секрет? Мы разгадали его только потом, когда узнали какую горькую судьбу уготовили немцы Чернигову, не только стерев его с лица земли, но и сделав вывеской и рекламой своей бесчеловечности.

Днем 23 августа над городом появился первый вражеский самолет. Люди, питавшие какие-то редкие иллюзии, заметались по ули-

цам. Все поняли, что настал и их черед. Люди с трепетом прислушивались к нараставшему осиному звону самолета, ожидая момента, когда раздастся первый взрыв.

Но взрывов не последовало и в этот день. Сделав два круга над городом, самолет улетел на запад, и население с радостью услышало по радио о том, что опасность воздушного нападения миновала. Чернигов и на сей раз был пощажен, и люди с облегчением вышли из щелей и подвалов.

Но только взглянув в лазурное небо, все увидели высоко вверху серебряные мигающие точки. Их было очень много и, медленно опускаясь к земле, они играли на солнце переливающейся белизной, как мотыльки.

Это были листовки. Через несколько минут они начали падать на огородах и в садах, на крышах домов, на площадях и улицах. За ними гонялись ребятишки, их ловили женщины. Сначала их уничтожали, рвали на клочки, думая, что в них содержится обычная для немцев глупая пропагандистская стряпня. Но скоро пронесся слух о том, что в листовках напечатано важное сообщение, которое должен прочесть каждый житель Чернигова.

Кто-то украдкой развернул листовку. В ней германское верховное командование извещало население города Чернигова о том,

что 26 августа, то есть через три дня, ровно в 12 часов пополудни город будет уничтожен с воздуха и что все, желающие спастись, должны уйти в окрестные леса.

Чорт возьми. Это казалось загадочным. С каких это пор немцы стали беспокоиться о благополучии ненавистных им советских людей? Почему это они решили не только предупредить их о грозящей опасности, но и дать срок, дать возможность уйти из города всем желающим?

С другой стороны, было совершенно непонятно, зачем немцам бомбить и даже уничтожать Чернигов теперь, когда город почти в кольце, войска и даже орудия противовоздушной обороны из него эвакуированы и сам он теперь не представляет ничего такого, что бы могло стать барьером на пути их продвижения. Было время, когда в городе стояло много частей, когда вокруг базировалось много самолетов. Но не тогда, а именно теперь немцы решили излить свою ненависть на крыши мирного города.

По городу пошли толки. Большинство сошлось на том, что все это провокация. Многие думали, что, так как в городе трудно перебить людей, то немцы решили их выманить на дорогу. Конечно, самолеты прилетят не 26, а в любой день, когда население выйдет в степь.

Но нашлись и такие, которые уверовали в милость немцев и в правдивость всего того, о чем они сообщали в листовках. Как всегда, в подобных случаях, нашлись шептуны и советчики, в большинстве случаев—прямые немецкие агенты, которые убеждали население уйти из города, и если кто не верит немцам, то уйти ночью, когда самолет не может обнаружить человека. Этот совет показался разумным и ему последовало большинство: ночь могла быть надежной гарантией,—и к вечеру город двинулся с места.

По улицам во все концы покатились телеги и тачки, пошли вереницы женщин и детей. Старухи несли грудных малюток, матери тащили мешки с убогим скарбом. Люди гнали скотину... На улицах стоял рев коров и овец... Все шли в разные стороны — кто куда, спешили, толкались, все старались успеть за ночь уйти как можно дальше в леса, где, казалось, уже ничто не могло поразить спрятавшегося человека.

В таком мрачном передвижении людей прошло два дня. Ни двадцать четвертого, ни двадцать пятого немецкие самолеты над городом не появлялись. 26 августа, сидя в чащах черниговских лесов, люди с самого утра начали следить за горизонтом. Все были молчаливы и угрюмы, редкий человек позволял себе промолвить слово, высказать свою роб-

кую догадку. Все трепетно ждали, чем кончится эта смертельная и непонятная игра.

Когда стрелки часов начали приближаться к двенадцати, напряжение стало особенно сильным. Если глаза на миг отрывались от Запада, то только для того, чтобы бросить прощальный взгляд на Восток, туда, где еще цвел зеленью садов и белизной каменных построек их родной, их обреченный Чернигов. Разговоры совершенно умолкли, и случайно заплакавший младенец вызывал гнев и угрозу взрослых: слух всех был обращен к тому, чтобы уловить гул самолетов, которые вот-вот должны были появиться.

Но стрелки часов коснулись друг друга, и момент их встречи не стал роковым. Пробил еще час. Пробило еще два часа... Очевидное и радостное крушение пресловутой немецкой пунктуальности вызывало улыбки одних и горькие замечания других. Что это было — издевательство над нервами слабых женщин или еще более изощренное, еще более искусное коварство? Что это было — вдруг возникшее желание пощадить Чернигов или решение уничтожить его через час?

Кто-то, очевидно из числа тех же немецких ставленников, с блаженной улыбкой христопродавца высказал догадку, что немцы, мол, дают еще добавочное время на тот не-

счастный случай, если кто-нибудь задержался в городе. Как мы увидим потом, эта догадка соответствовала действительности. Немцы боялись, что в городе остались люди, которые смогут тушить пожары. В этом случае Чернигов мог бы быть спасен и мощь германской авиации не была бы продемонстрирована с полным «блеском».

К трем часам дня город был совершенно пуст. По улицам можно было встретить унылые фигуры разбежавшихся из эвакуированного дома умалишенных. Их изодранные белые халаты как-то особенно трагично гармонировали с вопиющей могильной тишиной еще целого и цветущего, но уже мертвого города. Их блуждающие глаза, бессмысленные жесты, дикие гримасы и возгласы наводили ужас на тех, кто еще спешил покинуть город, торопили и подгоняли, как удары хлыста по телу, состоящему из нервов. Город был страшен в своем предсмертном молчании, умирающий город, носящий на себе следы той последней увядающей красоты, которая иногда появляется на лице умирающего человека, расцвечивая его бледные щеки последним приливом юношеской розовости.

В четвертом часу появились эскадрильи бомбардировщиков. Они шли строем звеньев на небольших высотах многими эшелонами, методично и холодно сбрасывая груз. Они

возвращались на свои базы, чтобы через полчаса снова притти к Чернигову, на смену тем, кто уходил на базы. Они сбрасывали в основном зажигательные бомбы, так как знали, что город некому тушить, распространению пожаров некому препятствовать и Чернигов сгорит дотла, как факел. Они начинали с окраин и постепенно подвигались к центру с таким расчетом, чтобы никто не мог бежать сквозь кольцо огня, опоясавший город, чтобы ничто не могло спастись, раз не ушло прочь во-время. Они жгли безнаказанно, опускались до бреющего полета и, медленно разворачиваясь, парили, как отяжелевшие от крови коршуны, как раздувшиеся от падали беркуты.

Только теперь, когда наблюдавшие за этой дикой экзекуцией над их мирным городом черниговцы увидели, что убийство холодно рассчитано и обдумано до мелочей, гнев вскипел в сердцах, и ненависть примешалась к жалости и слезам. Город пылал, как костер, их родной город. А они, обманутые и жалкие, находились вдали от него в эти страшные минуты. Стыд и обида убили в них боязнь и даже осторожность. Достаточен был хотя бы робкий призыв одного человека для того, чтобы тысячи людей в неудержимом и вдруг проснувшемся благородном порыве спасти свой родной город выбежали из

лесов, помчались по дорогам туда, где бушевал огонь, пожирая их родные очаги.

И этот призыв раздался. Был ли это голос человека, в котором заговорила совесть, или вопль подлеца, решившего предать еще раз уже преданных и обманутых однажды людей? Ведь теперь горю нельзя было помочь. Стена огня, как крепостной вал отделяла гибнущие здания от тех, кто хотел их спасти. Ведь теперь запоздалый порыв черниговцев был ни к чему, ибо никто не мог прорваться сквозь пламя.

Но в безотчетном экстазе напрасно искать трезвости и разума. Да и найдись человек, который стал бы объяснять тщетность и стремление к городу, его бы сочли предателем или немецким шпионом и разорвали бы на куски. Люди побежали по дорогам, запрудили все вокруг, мчались, не помня себя и не чувствуя усталости. Перед глазами каждого был только горящий город, их святой и благословенный приют, их древний Чернигов...

И тут-то начался второй акт прандиозного предательства. Кто знает — возможно, и он был предусмотрен заранее. Но скорее всего он был вызван боязнью провала составленного заранее плана уничтожения беззащитного города, боязнью того, что люди прорвутся в город и начнут бороться с огнем.

Самолеты ринулись на толпу бегущих черниговцев. Они засыпали их разрывными пулями, целыми касетами мелковесных бомб. Они спускались до самой земли и, наводя страх и ужас, мчались над затравленными и метущимися людьми, едва не цепляясь крыльями за головы. Они выли своими пропеллерами и адскими сиренами, ограждая свое гнусное дело от вмешательства справедливости. Теперь все поняли, почему немцы были так добры и заранее известили о предстоящей расправе. Все поняли, но сделать уже ничего не могли.

На следующий день, когда пламя отбушевало и деревянный город лежал повергнутый в прах, мы сидели у догорающего дома вдвоем со старухой, хозяйкой этого очага.

— Нет, не надеются они здесь хозяйничать, если вот так поступают, — воскликнула старуха. — Разве стали бы они уничтожать город, если бы думали им владеть.

Но старуха ошиблась. Немцы надеялись владеть этим городом. Но тот, кто бессилен, старается испугать и победить психическим оружием. Нынешние завоеватели вселенной не в силах покорить человечество. Они хотели испугать будущее поколение, воздвигнув себе памятник из вопиющих и зияющих развалин.

Нет. Мы не оставим вам наших руин: они святы. Но мы почтим ваш позор памятью нетленной и вечной, ибо вечна ваша низость и нетленна человеческая память. Мы запомним все до мелочей. И так же, как станут символом ужаса прошлой войны нагроможденные до туч человеческие черепа, с сидящим на их вершине вороном в прусской каске, так станет символом вечного позора, вечного презрения, вечной ненависти и проклятья памятник, который мы воздвигнем вам.

Это будет не обелиск и не статуя. Это будет изображение горы распластанных женских тел и разрубленных на части детских головок, это будет изображение окровавленных седин и изувеченной голубоглазой молодости... И на вершине этой страшной горы будет сидеть не мрачный ворон с прусским шишаком, образ тления и смерти, а некий человек с сутенерскими усиками и свисающим на глаза чубом, и на бессмысленном его лице будет такая страшная, такая бесчеловечная улыбка, что, глядя на нее, долгие столетия будут вздрагивать прохожие, и память о былом ужасе и уже никогда невозвратимом мировом кошмаре будет на миг снова омрачать и повергать в уныние неведающие горя и незнающие слез счастливые души.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Грозен Днепр	3
Киевские каштаны	15
Улица развалин.	27

Редактор Я. Городской. П 0429. Подписано к печати 19.IV 1943 г, Зак. № 988. Тираж 5000. 1¼ печ. л.
Типография „Октябрьский натиск". Уфа.

ЦЕНА 60 КОП.

7384